

Владимир Дроздовский

Дядя Миша

Я не спеша прохожу Соборку, перехожу булыжную мостовую, пропуская пролетающие мимо машины, и оказываюсь в начале Коблевской. На углу – небольшое кафе, такая себе местная забегаловка. На улице, прямо на асфальте, пять-семь столиков, не претендующих на изысканность, – публика, выпивающая здесь свои дежурные сто – сто пятьдесят или пару пива, непритязательна и часто знакома между собой. Солнечная осенняя погода убаюкивает и располагает к спокойному разговору, разглядыванию прохожих и просто молчаливому сидению за столиком с приятным ощущением жизни.

Дом под номером 25, дверь в подъезд с улицы. Захожу, поднимаюсь по мраморной широкой лестнице мимо дорогих дверей с переговорным устройством и табличкой с названием какой-то фирмы. На площадке второго этажа – одна дверь, еще та, старая, наверное, со дня постройки дома. Пять звонков над табличками с фамилиями жильцов. Это по-прежнему коммунальная квартира. Еле видна надпись «Смирнов». Здесь жил мой дядя. Дядя Миша. Тот настоящий одессит, моряк, балагур, простой и умный человек, про которого как будто и пел Утесов: «Ты одессит, Мишка, а это значит...».

Я подношу руку к звонку и...

1939 год. Весна. Цветут каштаны, солнце согревает город.

– Иду, иду! Нечего трезвонить! Мишка, это опять, наверное, к тебе, – Рая, жена Миши Смирнова, почти в два раза меньше его и полная противоположность ему – бойкая на язык и быстрая на действия тридцатилетняя неугомонная женщина. – Мишка! Мог бы подняться и открыть дверь, я ж не успеваю добежать с кухни!

Дело в том, что когда-то всю квартиру занимал один доктор, но после революции он уехал, а вместо него поселилось несколько семей, и отдельная большая кухня в самом конце длинного, метров на тридцать, коридора была поделена сначала по горизонтали, благо что высота потолков была 4,5 метра, а потом еще и внутренними вертикальными перегородками. Кухня Раи находилась во втором ярусе, куда вела деревянная лестница с перилами, и при звонке в дверь моя будущая тетя почти бежала открывать, при этом ворча и беззлобно поругиваясь ни на кого, даже если в этот момент Миша, которого она всегда называла Мишкой, находился в комнате, расположенной в трех шагах по коридору от входных дверей. В этом проявлялось и присущее ей любопытство, и, наверное, забота о муже. Открыв дверь, и в случае, если это был гость, она провожала его в комнату, выходящую окном и балкончиком на улицу, и тут же уносилась в свой кухонный курятник с маленьким окошком во двор – на постоянно шипящем примусе там всегда что-то варилось и жарилось.

Моряк Миша Смирнов только что вернулся из Батума (он так говорил), как пришла война. Опустевшие улицы летнего города были все же улицами той живой и неугомонной Одессы, но как бы задремавшей на время. Михаил ходил на небольшом сухогрузе то в Новороссийск, то в Батум, перевозя туда эвакуировавшиеся учреждения с семьями чиновников, многочисленными архивами и бухгалтерскими документами. Обрато везли продовольствие, боеприпасы, технику. Один из последних транспортов перед сдачей Одессы уходил октябрьским серым днем. На борту были раненные бойцы, женщины с детьми. Миша Смирнов работал мотористом. Километрах в двадцати от берега, несмотря на гул моторов, он и другие мотористы и механики, находящиеся в машинном отделении, услышали как бы хлопки, а потом почувствовали сильные удары волн о борт, отчего кто упал на пол, а кто ударился о металлические части машины. Миша выбежал на палубу и увидел, что их мирный транспорт атакуют два немецких бомбардировщика.

– Представляешь, Вовка, – рассказывал он потом мне в восьмидесятые годы, сидя в его маленькой, задымленной от жарившейся уже на газовой плите яичницы с колбасой кухне и выпитых

из маленьких гранчаков 200 граммов водки, принесенной мною из Первого гастронома на углу Преображенской (тогда Советской Армии) и Дерибасовской, – стою я на нижней палубе, немец заходит опять бросать бомбы, – ну, и даже не страшно, а интересно. И в это время на верхней палубе стояла с подносом наша буфетчица Зинка – она что-то несла капитану в рубку. Вдруг взрыв за бортом и крик. Я слышу – кричит Зинка: у нее ползадницы отсекло осколком. Я еще так удивился – крови нет, лишь белое сало. А потом все-таки потопили нас – пробили осколками несколько отсеков, и вода начала потихоньку просачиваться в машину. Заглушив двигатели, вся команда и пассажиры надели спасательные жилеты и стали по трапу спускаться в море. Шлюпок хватило только на раненых и детей. Капитан успел связаться с берегом и передать координаты нашего судна. В общем, Вовка, где-то около часа болтались мы в холодной воде, пока нас не пришел спасать военный катер. Потом спиртом внутрь и снаружи в виде расстираний нас возвращали к жизни.

Уже в сорок втором стояли мы на ремонте в Новороссийске. Молодые, есть постоянно хочется, а паек маленький. Стали мы брагу из чего только можно делать. Так вот. Стоит бочка большая в машинном отделении – механики глаза на это дело зарывали, – бродит, дух по всему пароходу идет, а мы в свободную минуту по очереди подбегаем, наливаем в кружки густую жидкость и дуем залпом. И начинается потом звуковое кино – животы вздутые, в башке весело, будто и не война вовсе, и не голодно, а все, кто брагу пил, – пер...т и сами друг с друга смеются, у кого громче выходит!

Война закончилась, и стал ходить Михаил в загранку. Все, что можно, увидел он в то время, когда и перед поездкой в Болгарию проверяли чуть ли не в десятом поколении.

Приходя иногда к дяде Мише в гости, слушая его рассказы и рассматривая привезенные издалека цветные открытки, я покидал мысленно пространство комнаты и оказывался то стоящим в Индии перед величественным Тадж-Махалом, ощущая величие мироздания, то прикрывал глаза от слепящего солнца у подножия пирамиды фараона в Египте, то представлял бои гладиато-

ров и слышал гул трибун в римском Колизее, сидел за столиком быстро в Париже на Монмартре, глядя на иллюминированную тысячами огней Эйфелеву башню и слушая парящее в вечернем воздухе бессмертное «Парам, парам, парам...» Эдит Пиаф.

А дядя Миша продолжал:

– Видел я, Вовка, как поднимается яркое большое солнце над Тихим океаном, как внезапно набегают черные тучи, предвестники шторма, а после судно падает с волны вниз, как в бездну, и ветер ревет так, что не слышно никого и ничего вокруг.

В рассказах о женщинах разных стран чувствовалось большое знание предмета рассказчиком, и подозрения на сей счет тети Раи были явно небезосновательны. Но все это не мешало их семейному кораблю двигаться в одном направлении без сильных бурь.

Ходил Михаил Антонович Смирнов на разных судах до начала семидесятых. Потом ушел на пенсию. Работал на заводе токарем. Шли годы. Старел дядя Миша, я вырослел, но все так же с удовольствием изредка приходил к нему поговорить, а вернее, послушать его никогда не повторяющиеся рассказы из большой, трудной, но такой одесской жизни. В один из моих приходов к нему он подарил мне на память золотые часы марки «Луч».

В начале девяностых он заболел и стал с трудом передвигаться по квартире, но обязательно каждый день выходил на небольшой балкончик, садился на стул и подолгу смотрел вниз на людей.

– Ты представляешь, – говорила мне тогда тетя Рая, – этот старый кобель и с балкона умудряется заглядывать бабам под юбки!

На что дядя Миша хитро подмаргивал мне и улыбался: мол, ничего, Вовка, все нормально!

В 1992 году его не стало, тетя Рая переехала жить к родственникам, и в их комнате поселились другие жильцы.

Рука моя все еще была возле звонка с надписью «Смирнов. Зв. 3 раза». Сняв подаренные дядей Мишей часы, я в который раз прочел выученную давно наизусть выгравированную на них надпись «Михаилу Антоновичу Смирнову в день выхода на пенсию от машинной команды теплохода «Башкирия». Август 1973 года».